

(АЕМ, VI, Тоѳілеску, № 1); архонтом-эпонимом в 201 г. н. э. в Тире был римлянин П. Элий Кальпурний, как сообщает надпись в честь Коккея; эта же надпись упоминает двух романизированных греков, которые были архонтами; среди 17 имен влиятельных Граждан, упомянутых в качестве свидетелей в той же надписи из Тире, — 6 носят греко-римские имена (IOSPE, 1<sup>2</sup>, 2).

Также кажется нам не совсем правильным утверждение, что *κοινόν* — союз западнопонтийских городов — имел чисто сакральные цели (стр. 133). Уже то обстоятельство, что во главе союза стоял экономически более сильный город — Томи, а не Каллатис, который в это время был ведущим в культурном отношении, указывает на то, что не только культовые соображения играли роль в создании союза. Это становится совершенно очевидным в более позднее время (с Коммода), когда на монетах западнопонтийских городов появляются буквенные обозначения ценности монет (А, В, Г, Δ, Ε), квалифицирующие монеты этих городов соответственно в одну, две, три, четыре и пять единиц. Монеты, имеющие одинаковое буквенное обозначение, совпадают по весу. Очевидно, создание союза преследовало не только культовые цели, но и торговые: создание монетной конвенции с тем, чтобы облегчить монетное обращение каждого города на территории всего западнопонтийского союза.

На странице 71-й автор говорит о том, что мёзийская земля после похода Красса смирилась и была подготовлена, чтобы быть превращенной в римскую провинцию. Ряд обстоятельств заставляют нас отнестись критически к высказанному здесь Дановым утверждению. Как нам представляется, племена Мёзии принимали участие в паннонско-далматинском восстании 6—9 гг. н. э. и в тех фракийских восстаниях против римлян и их ставленников, которые произошли в 20-х годах I в. н. э.

*Г. Златковская*

## **ПРОБЛЕМЫ ПОЗДНЕЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ В СОВРЕМЕННОЙ БУРЖУАЗНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ**

Вопрос о поздней Римской империи постоянно вызывал огромный интерес у историков самых различных направлений. Это неудивительно, ибо существо его составляет проблема кризиса и падения одного из самых могущественных государств мира. Представители разных классов и разных исторических эпох по-своему ставили и решали вопрос о поздней Римской империи — в нем постоянно чрезвычайно остро претолкались политические и классовые тенденции и стремления. Уже гуманист Петрарка, мечтавший о «восстановлении» Римской республики, видел причину падения Римского государства в тираническом правлении императоров, начиная с Юлия Цезаря; Макиавелли, со страхом наблюдавший рост захватнических стремлений заальпийских государств по отношению к Италии, своеобразно обращал свои опасения в прошлое и утверждал, что варварское вторжение погубило Римскую империю. Антифеодалы и антиклерикальные выступления в XVIII в. породили вольтеровскую концепцию Римской империи, развитую затем Гиббоном. По мнению Гиббона Римская империя представляла собою вырождающееся государство, упадок которого был вызван распространением христианства, ослабившего мечтой об аскетизме римскую доблесть.

Несмотря на антиклерикальный характер, концепция Вольтера и Гиббона в своем чистом виде уже не могла удовлетворить либеральную историографию конца XIX в. В это время в буржуазной историографии (особенно русской: П. Г. Виноградов, М. И. Ростовцев, Д. М. Петрушевский) были предприняты попытки рассмотреть социальные причины падения Римской империи. Тогда эти причины видели в росте поместий за счет городской промышленности и торговли, в распространении натурального хозяйства. Однако и концепция этих историков не была последовательно материалистической. Предприняв первую в мировой исторической литературе попытку систематического

рассмотрения социальной и экономической истории Римской империи<sup>1</sup>, Д. М. Петрушевский для объяснения причин ее гибели обратился к вульгарной фискальной теории, объяснявшей историческое развитие деятельностью имперского фиска, деятельностью императоров, т. е. к тому же идеализму, хотя и более тонкому и завуалированному, чем идеализм Гиббона.

Западноевропейская историческая литература периода после первой мировой войны по существу развивала ту концепцию поздней Римской империи, которая была создана предвоенными русскими историками; при этом особенно «повезло» слабым ее сторонам, прежде всего фискальной теории. Именно в фиске, в государстве, буржуазные историки стали видеть основную творческую историческую силу.

Распространение фискальной теории в условиях нарастания классовой борьбы не было случайным: идеологи буржуазии в обстановке полного краха капитализма всячески стремились поддержать теорию о творческой силе государства, которое будто бы само, по собственной воле, может изменять не только политический строй, но и социально-экономические отношения. В сильном государстве послевоенная буржуазия стремилась найти опору против развивающейся борьбы пролетариата, и это своеобразно преломлялось в осмыслении поздней Римской империи.

Переход к откровенной идеализации поздней Римской империи стал особенно отчетливым уже после установления фашистской диктатуры. Фашистские «историки» усмотрели в доминате историческую параллель фашистскому государству: централизованное государство IV в. н. э. казалось им прообразом фашистского государства. Естественно поэтому, что старая гибоновская концепция оказалась для них неприемлемой. В фашистской историографии создан был идеализированный образ Диоклетиана и Константина, которые изображались здесь в качестве предшественников «фюрера» с высокой всемирно-исторической миссией подавления революционных страстей непосредственных производителей и создания откровенной диктатуры правящих классов.

Мы позволили себе уделить известное внимание рассмотрению тех представлений относительно поздней Римской империи, которые существовали в предвоенной буржуазной историографии: это даст нам возможность лучше понять основные тенденции развития современной западноевропейской и американской науки. Даже лучшие представители буржуазной исторической науки были чужды подлинно материалистического подхода к объяснению исторических событий; современные буржуазные историки, как правило, открыто порывают с материализмом. П. Харанис в статье «Общественная структура поздней Римской империи» (кстати сказать, в это понятие автор включает и Византийскую империю вплоть до XI в.) следующим образом сформулировал представление современных буржуазных историков о движущих силах исторического процесса: «В истории поздней Римской империи п о й н а и р е л и г и я (подчеркнуто нами. — А. К.) были теми двумя основными факторами, которые сформировали общество империи и определили ее внешнеполитическое положение»<sup>2</sup>. Анализ выпшедших в 40-х годах работ западноевропейских и американских историков поздней Римской империи действительно показывает, что именно войне и войску, а также религии придается в настоящее время значение основных творческих сил.

Нам пришлось уже подробно рассматривать концепцию Э. Грэна, который считал, что историческое развитие Балканского полуострова и Малой Азии в I—III вв. н. э. определялось той прогрессивной хозяйственной ролью, которую играли расположенные на Балканах римские легионы<sup>3</sup>. Точно так же и экономический расцвет Галлии в IV в.,

<sup>1</sup> Н. А. М а ш к и н, Д. М. Петрушевский как историк Римской империи, Средние века, II (1946), стр. 33.

<sup>2</sup> P. C h a r a n i s, On the social structure of the Later Roman Empire, Byzantion, XVII (1945), стр. 57.

<sup>3</sup> Т. З л а т к о в с к а я и А. К а ж д а н, Рецензия на книгу Э. Грэна, ВДИ, 1947, № 2.

о котором со времени Пиренна постоянно говорят западноевропейские историки, приписывается той якобы прогрессивной хозяйственной роли, которую играли римские легионы в Трире и других прирейнских городах<sup>1</sup>.

Еще более отчетливо это представление о творческой исторической роли войн и войска проступает в книге Сестона «Диоклетиан и тетрархия»<sup>2</sup>. Автор, помимо личной воли Диоклетиана, стремившегося, по его словам, к установлению твердой единодержавной власти, учитывает еще два фактора: религиозные влияния и войны. Именно эти два фактора, по мнению Сестона, и определили установление тетрархии. Исходя из этого представления, автор в первой части подробно рассматривает историю войн при Диоклетиане, причем основное внимание он уделяет войне с узурпатором Караусием и персидским войнам, ибо с войной против Караусия связано пожалование Максимиану титула августа, тогда как персидские войны, по словам Сестона, создали цезарей: Констанция и Галерию.

Не приходится говорить, что Сестон в своей книге смешивает подлинную причину установления тетрархии и непосредственные поводы для пожалования титулов Максимиану, Констанцию и Галерию. Установление тетрархии имело гораздо более глубокие причины, нежели восстание Караусия и персидские войны. Установление тетрархии свидетельствовало о признании правящим классом Римской империи невозможности сохранить ее целостность и было результатом глубоких экономических перемен, приводивших к расчленению единого государства.

Более глубокое понимание этого процесса мы найдем у Д. М. Петрушевского и других русских историков начала XX в., которые объясняли распад Римской империи натурализацией хозяйственной жизни и расчленением страны на ряд независимых друг от друга поместий. Эти историки правильно видели причины распада империи в ее ф е о д а л и з а ц и и. Правда, предложенное ими объяснение имеет упрощенно экономический характер и к тому же преувеличивает товарно-денежную природу римской экономики предшествующего периода. Только советские экономисты предложили правильное объяснение причин распада Римской империи в процессе феодализации: «централизация римского государства коренилась в его рабовладельческой природе, ибо рабовладельческое государство, осуществляя свою функцию подавления и обуздания рабов, «имело дополнительную, сравнительно с феодальным государством, функцию обеспечения рабовладельческого воспроизводства рабочей силой»<sup>3</sup>. Феодализация общества неминуемо вела к распаду империи. Так или иначе, причины распада империи и, в частности, причины установления тетрархии следует искать не в случайных явлениях, не в отдельных войнах и узурпации, а в глубоких изменениях социально-экономического строя общества, в процессе феодализации.

Представление современных буржуазных историков о творческой роли армии коренится в том культе войны, который был создан в гитлеровской Германии и поддерживается в настоящее время агрессивными американскими империалистами и их западноевропейскими прислужниками.

Чрезвычайно любопытен и тот второй фактор, о котором говорит Харанис: религия. Отношение к религии и особенно к христианской религии подверглось коренному пересмотру в предвоенной и послевоенной исторической литературе. Изменение отношения к религии отчетливо проступает в вопросе, который давно уже сделался одной из самых острых исторических проблем, в вопросе о реальности существования Христа. Либеральная буржуазная историческая наука (Бр. Бауэр, Смит, Робертсон) выступала вплоть до начала XX в. со сравнительно радикальной критикой предания, отрицающая реальность существования Христа и рассматривая его как одно из младших иудейских божеств. Современная буржуазная историография всячески открепщается

<sup>1</sup> N. H. Baynes, JRS, XXXVI (1946).

<sup>2</sup> W. Seston, Diocletien et la tetrarchie, Paris, 1946.

<sup>3</sup> М. Н. Мейман, Экономический закон движения рабовладельческого способа производства, «Исторические записки», XXII (1947), стр. 364.

от радикальных традиций. Французский историк церкви Лабриоль откровенно осуждает «безумные гипотезы неисторичности Иисуса»<sup>1</sup>. «После двух столетий высшего критицизма,— пишет американский историк Дюрант,— основные контуры жизни, характера и учения Христа остаются достаточно чистыми и создают наиболее очаровательный образ в истории западного человека»<sup>2</sup>.

Даже евангельские сообщения о чудесах, совершенных Христом, признаются достоверными. Дюрант прямо говорит о Христе (там же, стр. 562): «Исключительность его силы представляется доказанной совершенными им чудесами». Признает достоверность известий о чудесах, якобы совершенных Христом, и иерусалимский профессор Клаузер, резко осуждающий не только радикальную критику предания, но даже и таких умеренных теологов, как Бультман, которые хотя и признавали историчность Христа, но все же сомневались в возможности узнать что-либо определенное о жизни и деятельности основателя христианской религии<sup>3</sup>. Еще дальше Дюранта и Клаузнера идет в этом отношении известный американский востоковед Олмстэд, который готов признать даже реальность явления Христа после распятия: признать явление Христа в Эммаусе действительным совершенно необходимо, по мнению Олмстеда, ибо без этого нельзя объяснить внезапное изменение в настроении учеников Христа, которые вдруг перешли от горя и слез к радости<sup>4</sup>.

Склонность к мистике и фидеизму современных буржуазных историков особенно отчетливо проявляются в вопросе об историчности Христа, но они сказываются и на многих других исторических проблемах и, в частности, на проблемах истории поздней Римской империи. Проблема распространения христианства и превращения его в государственную религию становится в работах буржуазных историков центральным вопросом поздней Римской империи. По мнению английского историка Мосса, признание христианства государственной религией является важнейшим переломным моментом в истории первых веков нашей эры, «ибо,— говорит Мосс,— принятие новой религии изменило направление умов у людей и определило политику их правителей»<sup>5</sup>.

Мы уже упоминали о том, что в книге Сестона «Диоклетиан и тетрархия» религия наряду с войной выступает как основной творческий фактор. Реформы Диоклетиана, говорит Сестон (стр. 354), были проникнуты глубоким религиозным чувством. Сестон находит, что в этом заключается подлинное величие Диоклетиана, заставляющее забывать о робком и непоследовательном администраторе и о полководце, который был более пригоден распределять роли между своими помощниками, нежели непосредственно руководить какой-нибудь военной кампанией.

Вопрос о религиозных основах тетрархии подробно разбирает Сестон во второй части своей книги. По его мнению, Диоклетиан в своей реформаторской деятельности исходил из религиозного понимания императорской власти, установленной богами (*divino consensu*) через всеобщее согласие (*consensus omnium*). Такое понимание императорской власти приводило Диоклетиана к стремлению создать самодержавную монархию, чуждую всякой идеи разделения суверенитета. Самодержавная монархия была для него идеальной формой правления (стр. 208). Император в представлении Диоклетиана хотя и не являлся «живым богом», однако все его функции рассматривались как проникнутые божественностью.

Созданная Диоклетианом тетрархия, по мнению Сестона, не противоречила этим представлениям императора об идеальной организации власти; и после провозглашения Максимиана августом, и после установления должности цезарей Диоклетиан оставался фактически главой государства (стр. 234 сл.). Это достигалось с помощью религиозного осмысления власти: вся власть считалась принадлежащей верховному божеству —

<sup>1</sup> P. de Labriole, *La réaction païenne*, Paris, 1942, стр. 9.

<sup>2</sup> W. Durant, *Caesar and Christ*, New York, 1944, стр. 557.

<sup>3</sup> I. Klausner, *From Jesus to Paul*, New York, 1945, стр. 261.

<sup>4</sup> A. T. Olmstead, *Jesus in the light of history*, New York, 1942, стр. 251.

<sup>5</sup> H. St. Moss, *The birth of the Middle ages*, Oxf., 1947, стр. VI.

Юпитеру, который осуществлял ее через своего посредника Иовия—Диоклетиана, тогда как другие императоры были посредниками между людьми и другими младшими богами. Максимиан, например, выступал в качестве Геркулия, представлявшего бога Геркулеса. По мнению Сестона, и христианство ничего не изменило в концепции империи, разработанной Диоклетианом: исчезли только титулы Новия и Геркулия, существенные во времена Диоклетиана, но ставшие языческой мишурой для людей, живших два поколения спустя (стр. 230).

Итак, созданная Диоклетианом концепция императорской власти исходила из понятия божественности власти императора: император рассматривался как посредник между божеством и людьми. Эта концепция содержала в себе все основные элементы христианского понимания императорской власти как власти «от бога». Короче говоря, государственная форма домината была создана не в результате глубоких социально-экономических перемен, но возникла из религиозного мышления Диоклетиана. Тот факт, что государство при Диоклетиане приняло форму тетрархии, был обусловлен рядом войн и узурпаций. Идеалистическая концепция Сестона, как мы видим, исходит именно из того, что войны и религиозные представления являются движущей и творческой силой, определяющей историческое развитие.

Диоклетиан, в представлении современных буржуазных историков, лишь предшественник того императора, который был подлинным создателем «идеального государства», опирающегося на христианскую церковь.—Константина. Поэтому к Константину в еще большей степени приковано внимание современных буржуазных историков. Развитию интереса к Константину в значительной степени содействуют и некоторые дополнительные причины: то агрессивное внимание к проблеме проливов, которое чрезвычайно возросло за время войны, отразилось и на основателе Константинополя.—это вынуждены признавать даже некоторые наиболее откровенные апологеты американского империализма, как, например, Грегуар<sup>1</sup>.

Истории Константина посвящено несколько книг, вышедших во время войны и в послевоенный период. Мы остановимся на двух из них. Для упадка современной американской науки чрезвычайно характерно появление книги Холсэппла «Константин Великий»<sup>2</sup>. Эта книга написана верующим католиком, чрезвычайно ревниво относящимся к католической традиции о Константине; Холсэппл игнорирует даже критическую литературу, созданную буржуазными исследователями, и возвращается к взглядам Лактанция и Евсевия (правильнее сказать, псевдо-Евсевия); но он отбрасывает даже те известия этих авторов, которые противоречат поздней католической традиции. Приверженность к католической традиции проступает во многих частностях: Холсэппл, например, вводит в свою книгу специальную главу, посвященную вопросу о «Константиновом даре». Глава эта не освещает ни положения империи при Константине, ни личности Константина, ни какого-либо иного вопроса, относящегося к началу IV в. Холсэппл включает эту главу с единственной целью попытаться оправдать папство и доказать, что эта неграмотная фальшивка, игравшая столь большую роль в истории средних веков, не была составлена папами.

Уже на первых страницах книги Холсэппл открыто выступает с религиозной программой. Предшествующие историки, по его словам, не испытывали достаточной симпатии к христианству, поэтому их книги (он имеет в виду прежде всего Вольтера и Гиббона) носили свободомыслящий и антихристианский характер. Историки XIX в. сосредоточили свое внимание преимущественно на материальных проблемах, в то время как основное значение этой эры на самом деле заключается в ее религиозных достижениях (стр. 2).

Основной стержень книги Холсэппла составляет вопрос о принятии Константином христианства. Автор утверждает, что Константин в первые годы своего правления был язычником с глубоким религиозным чувством; подобно своему отцу, он интуитивно

<sup>1</sup> H. Grégoire, Byzantion, XVI (1944), стр. 555.

<sup>2</sup> L. B. Holsapple, Constantine the Great, New York, 1942.

стремился к монотеизму. Решающую роль в принятии христианства Константином Холсэппл приписывал известному видению Константина, которому во сне, как рассказывают Лактанций и псевдо-Евсевий, явился «лабарум» и буква Х, представлявшая, по их мнению, первую букву имени Христа.

Уже эта традиционная трактовка вопроса о «лабарум» характерна для упадка исторической науки в современной Америке, ибо даже буржуазная историография признала рассказ о видении Константина легендой. Повидимому, первоначально сложилась языческая легенда о видении Константина, согласно которой ему накануне решительного сражения явился лавровый венок и число Х, означавшее число лет его будущего правления. Лишь впоследствии христианские писатели придали этой языческой легенде христианский облик, превратив лавровый венок («laureum») в «лабарум», а число Х — в первую букву имени Христа. Холсэппл не хочет считаться с трактовкой вопроса о «лабарум» даже в современной буржуазной историографии и передает как достоверную легенду Лактанция и псевдо-Евсевия. Принимает Холсэппл и традиционное решение вопроса о Миланском эдикте: хотя он готов допустить, что этот документ мог быть издан и не в Милане (стр. 178), для него несомненно, что автором его был Константин. Аргументация этого положения у Холсэппла чрезвычайно показательна для научного уровня книги. Ясно, говорит Холсэппл, что этот эдикт представляет собой достижение Константина, ибо нельзя допустить, чтобы низший по своему интеллекту Лициний или воинственный язычник Максимиин могли создать что-либо в духе этого замечательного памятника (стр. 189).

Антинаучный характер книги Холсэппла сказывается не только в безудержной идеализации Константина (стр. 400 и сл.), не только в стремлении восстановить католическую традицию времен Барония, но и прежде всего в неумении и нежелании понять природу и характер классовой борьбы в это время. Так, говоря о донатистах, Холсэппл не видит социального характера этого народного движения, изученного благодаря трудам советских историков<sup>1</sup>; ему представляется, что причиной этого движения был «горячий североафриканский темперамент, всегда склонный к борьбе и заговорам» (стр. 194), что к движению донатистов примкнули аморальные люди, которые не могли ужиться с церковью (стр. 197).

Работа французского историка Ж. д'Эльбе носит то же название<sup>2</sup>, что и книга Холсэппла, и, подобно ей, посвящена не столько эпохе IV в., сколько личности самого Константина. Однако концепция Эльбе гораздо сложнее, нежели примитивные рассуждения Холсэппла.

По словам Эльбе, основной идеей Константина была идея установления единства. Исходя из этого, задача, стоящая перед Константином, формулируется как задача «объединения империи с помощью церкви» (стр. 279).

Таким образом, и Эльбе изображает Константина человеком, который с начала своей деятельности сознательно стремится к принятию христианства, ибо видит в христианстве могущественное средство для восстановления единства империи. Правда, в отличие от Холсэппла Эльбе изображает Константина человеком неуравновешенным, склонным к постоянным колебаниям и переходам от одного настроения к другому: он даже готов признать наличие элементов психического расстройства у Константина, что объясняет, по мнению Эльбе, постоянные видения Константина (стр. 59, 173, 286). Но именно эти видения полусумасшедшего императора оказывают решающее влияние на судьбы человечества: именно из одного такого видения и родилось «преобразование мира» (стр. 48; Эльбе имеет в виду легендарное «видение» накануне битвы у Мульвийского моста, после которого якобы Константин склонился к христианству).

Первые шаги Константина были весьма успешны: победив Лициния, Константин добился установления единства империи, — как говорит Эльбе, физического единства;

<sup>1</sup> Н. А. М а ш к и н, Движение агонистиков. «Историк-марксист», 1935, № 1 (41); он же, Агонистики, или циркумцеллионы, в Кодексе Феодосия, ВДИ, 1938, № 1.

<sup>2</sup> J. d'É l b é e, Constantin le Grand, Paris, 1947.

в то же время в борьбе с донатистской ересью он добивается морального единства империи. Однако эти успехи скоро сменились неудачами. Константин, по мнению Эльбэ, не справился с тем интеллектуальным кризисом, который возник в результате арианских споров: он дал возродиться арианству и принес в жертву тщеславию и успеху истинную веру (стр. 280). История Криспа и Фаусты показала Константину наличие глубокого морального упадка не только в обществе, но и в самой семье императора. После жестокой казни Фаусты впечатлительный Константин не мог более оставаться в Риме. Кроме того, еще и тщеславное желание стать основателем новой столицы заставило Константина перенести императорскую резиденцию в Византий, получивший теперь новое имя: Константинополь. Этот перенос столицы на восток, порожденный случайными и личными причинами, Эльбэ называет «мальчишеским расчетом» (стр. 283). «Если бы Константин, — говорит он в другом месте, — имел силу и смелость задупить республиканскую и языческую анархию и удержаться в Риме, весь облик мира был бы другим» (стр. 167). Перенос столицы на восток не дал никаких результатов: «из всех памятников, созданных в Константинополе, для вечности уцелела только одна поломанная колонна» (стр. 205). Таким образом, благие начинания Константина оказались незавершенными: мира и единства империи ему не удалось достичь. Конец его правления был тяжелым и безрадостным, юношеские иллюзии были потеряны (стр. 241).

Впрочем, Эльбэ отмечает одно учреждение, в дальнейшем сохранившее большую роль, которое своим основанием обязано Константину, — это аристократия. Античные магистраты не представляли собою подлинной знати, ибо они были лишь должностными лицами, не опиравшимися на какую-либо добродетель: истинная же знатность основана на христианстве (стр. 205—206). В отличие от античных магистратов константинова аристократия обладала определенной духовной ценностью (стр. 215).

Мы видим, что книга Эльбэ, такая же идеалистическая, как и книга Холсэппла, сводящая, как и та, все историческое развитие к воле Константина, все же значительно отличается от книги американского историка. Отличие это проявляется прежде всего в том пессимизме, который пронизывает всю книгу Эльбэ: вся деятельность Константина представляется ему бесплодной и безрезультатной, несмотря на то, что он руководствовался благими намерениями. При этом Эльбэ совершенно чужд исторической закономерности: он полагает, что судьбы мира могли бы быть совершенно иными, если бы Константин был другим человеком, если бы ему удалось более решительно расправиться с арианской ересью и подавить республиканское сопротивление в Риме. Другая характерная черта книги Эльбэ — это ее ярко выраженные симпатии к господствующей христианской аристократии. По его мнению, только зная, опирающаяся на христианство, смогла устоять в том хаосе, который наступил после неудачи реформ Константина.

Техника исследования в книге Эльбэ так же слаба, как техника Холсэппла. Эльбэ крайне доверчиво относится к известиям «современных» источников, не дает их критического анализа; особенно доверчиво относится он к тем памятникам, которые излагают историю христианства. Его доверчивость распространяется даже на такие, несомненно, легендарные известия, как рассказы о видениях Константина. Не приходится говорить о том, что социально-экономическая проблематика трактуется крайне примитивно — даже в сравнении с буржуазными исследованиями конца XIX в. Эти проблемы не интересуют автора, который гораздо охотнее описывает «кровавые» сцены, подобные убийству Фаусты.

Важно отметить, что в историческом сочинении, вышедшем в свет в маршаллизированной Франции, необходимыми являются основные элементы современной американской «культуры»: убийства и психическая ненормальность героя. Возможно, что именно эта печать маршаллизации, лежащая на этой книге, как и на всей литературной продукции реакционных французских кругов, определила тот пессимистический взгляд на мир, который лежит, как мы уже говорили, в основе концепции Эльбэ.

Итак, рассмотрение ряда исторических сочинений, появившихся в последние годы в Америке и Западной Европе, показывает нам, что характернейшей чертой современной буржуазной историографии является широкое распространение идеалистических

и открыто религиозных взглядов на историческое развитие; творческая воля отдельной личности и религиозные влияния — вот те факторы, которые, по мнению современных буржуазных ученых, определяют историческое развитие. Рядом с ними только война получает почетное право выступать в качестве активного творческого фактора.

Но наряду с откровенно идеалистическими концепциями мы встречаем и такие, которые склонны кутаться в фразеологию, близкую к материалистической. Известный английский историк Уолбэнк в книге «Упадок Западной Римской империи»<sup>1</sup> претендует на то, чтобы дать материалистическое и объективное решение проблемы. В своей книге он критически разбирает ряд концепций, имевших целью объяснить причины падения Римской империи, показывает их конъектурность и характеризует их как мистические и апокалиптические теории. Однако, критикуя своих предшественников за конъектурность, Уолбэнк, может быть, даже в большей степени, чем они, не в состоянии отлучиться от современности: введение института фрументариев при императоре Адриане напоминает ему гестапо (стр. 42); говоря о римских бюрократах, захватывающих огромные земельные богатства, он вспоминает Чяно и Геринга (стр. 52); доминат он рассматривает как корпоративное (т. е. фашистское) государство и т. д. Но более того, основная проблема его книги — сугубо политическая: изучая проблему падения древнего Рима, он хочет решить вопрос, может ли современное буржуазное общество избежать той катастрофы, которая разыгралась в Риме.

Уолбэнк настаивает на принципиальной противоположности римского мира и современного буржуазного общества. Он утверждает, что в Риме кризис и крах были неминуемы, и в этом вопросе убедительно полемизирует с откровенным идеалистом Эртелем, по мнению которого кризис вполне мог бы быть приостановлен и Рим пал только потому, что правящим кругам его нехватило творческой энергии (стр. 70). В отличие от этого, полагает Уолбэнк, в современном обществе кризис и возникновение корпоративного государства (фашизма) не является неминуемым: современное буржуазное общество в состоянии исправить свои пороки. «Мы должны сохранить нашу страстность, — говорит Уолбэнк в заключении своей книги, — и нашу энергию для настоящей задачи — сделать хорошим все то, что скверно в нашей собственной цивилизации» (стр. 85).

Таким образом, Уолбэнк питает надежды на мирное исправление пороков буржуазного общества; иначе говоря, он отрицает революционное развитие. Опасаясь грядущей революции, Уолбэнк не рассматривает историю как процесс классовой борьбы; поэтому проблема падения Римской империи принимает в его изложении форму вопроса о взаимоотношениях человека вообще и государства: «проблема декаданса, — говорит Уолбэнк, — подобно проблеме прогресса, является, в сущности, проблемой положения человека в государстве» (стр. 5). Поздняя Римская империя выступает в изображении Уолбэнка как время торжества общества над личностью.

Не понимая, что важнейшей движущей силой развития человеческого общества является классовая борьба, что рабовладельческая Римская империя была ликвидирована революцией рабов, Уолбэнк вынужден объяснять ее падение действием множества факторов, важнейшими из которых являются следующие:

1. Техническая отсталость римского хозяйства и особенно транспортных средств приводит к децентрализации производства, так как оказывается дешевле передвинуть мастерскую к рынку, нежели перевозить товары (стр. 28 и сл.). В результате этого с расширением римского государства промышленность передвигается из городов в поместья.

2. С ростом империи связан и рост бюрократического аппарата, без которого невозможно управлять столь значительным государством (стр. 40 и сл.). Дороговизна бюрократического аппарата порождает финансовый кризис, падение стоимости монеты; в условиях финансового кризиса взимание податей вызывает такие трудности, что приводит к закрепощению куриалов и ремесленных коллегий.

<sup>1</sup> F. W. Walbank, *The Decline of Roman Empire in the West*, London, 1946.

3. Одним из важных факторов, определивших падение римского государства, было рабство. При рабском способе производства огромные массы непосредственных производителей лишены плодов своего труда, а это приводит к крайнему сужению внутреннего рынка и заставляет римскую промышленность искать рынки за пределами Римской империи (стр. 27).

Одним из существеннейших пороков концепции Уолбэнка является характерная для буржуазной науки модернизация римской экономики: вопрос о рынках, которому Уолбэнк придает такое большое значение, на самом деле не стоял так остро: как указывает Маркс в III томе «Капитала», мануфактура не достигла здесь значительного развития. Преобладающим в Риме оставалось мелкое ремесло. Далее, Уолбэнк, хотя и затрагивает проблему рабства, все же не ставит вопроса о внутреннем кризисе рабовладельческого производства — вопроса, который поставлен и разрешен в трудах советских историков-марксистов (А. В. Мишулина, Н. А. Машкина, С. И. Ковалева, А. Б. Рановича, К. М. Колобовой и др.). На долю рабов в концепции Уолбэнка выпадает лишь пассивная роль. Точно так же лишь мимоходом и неправильно поставлен вопрос о технической оснащенности римского хозяйства; орудия производства не выступают в книге Уолбэнка как важнейшие элементы производительных сил общества, но лишь как фактор, способствовавший децентрализации империи.

Вопрос о рабском труде и слабости развития производительных сил римского общества поставлен Уолбэнком вовсе не для того, чтобы понять существо социально-экономических отношений в древнем Риме; постановка этого вопроса нужна для того, чтобы в апологетических целях показать «преимущество» современного капиталистического общества перед античным. Уолбэнк утверждает, что в современном буржуазном обществе техника достигла высокого уровня развития, пути сообщения превосходны, деревня срастается с городом, поэтому децентрализация невозможна (стр. 77). «Трудящиеся классы наших современных промышленных государств, — лицемерно пишет Уолбэнк, — не лишены средств для того, чтобы покупать продукты своего труда» (стр. 79), а это порождает, по его словам, неисчерпаемый внутренний рынок. Теперь, в дни начинающегося жесточайшего мирового кризиса, эти слова Уолбэнка звучат как дурная шутка. Таким образом, утверждает Уолбэнк, в современном буржуазном обществе отсутствуют факторы, которые в Риме привели к кризису и созданию корпоративного государства; это, по его мнению, позволяет современному буржуазному обществу избежать фашизма.

Так использует Уолбэнк историю древнего Рима для неприкрытой идеализации буржуазных порядков, для затушевывания непримиримых противоречий, которые раздирают капиталистический мир и порождают в нем классовую борьбу, гораздо более острую, нежели в античном обществе. Идеализируя капиталистическую систему, Уолбэнк лицемерно заявляет, что римским цезарям пришлось столкнуться с действительными пороками общественного строя, тогда как в современных государствах, вступивших на путь фашизма, имели место лишь «вымышленные болезни» (*maladie imaginaire*) (стр. 76—77). Боясь классового анализа, Уолбэнк не хочет видеть, что фашизм является неизбежным порождением капиталистического строя.

Итак, хотя Уолбэнк выдает свою книгу за объективную, на самом деле она является апологетическим прославлением капиталистической системы. Тем самым еще раз подтверждаются замечательные слова В. И. Ленина о том, что «беспартийность в буржуазном обществе есть лишь лицемерное, прикрытое, пассивное выражение принадлежности к партии сытых, к партии господствующих, к партии эксплуататоров»<sup>1</sup>.

В отличие от Уолбэнка вышеупомянутый американский историк Дюрант готов признать значение классовой борьбы. Он, например, признает, что в III в. н. э. классовая борьба в Римской империи стала более ожесточенной, чем раньше (стр. 632). Более того, Дюрант даже готов признать классовую борьбу одним из факторов, обусловивших падение Римской империи (стр. 665). Однако он чрезвычайно вульгарно и извра-

<sup>1</sup> В. И. Л е н и н, Соч., т. X, стр. 61.

ценно понимает влияние классовой борьбы на судьбы империи; важнейшей причиной падения Римской империи, по словам Дюранта, были биологические факторы, прежде всего падение народонаселения. Что же обусловило уменьшение народонаселения? — спрашивает далее Дюрانت. Важнейшую роль в этом, по его мнению, сыграло уменьшение величины семьи. Кроме того, сказалось действие чумы, войн и революций (стр. 666). Итак, классовая борьба и революции, полагает Дюрانت, до известной степени оказывали влияние на судьбы Римской империи; однако влияние это проявлялось лишь в том, что революции уменьшали народонаселение.

В качестве причин падения Римской империи, помимо биологических факторов и классовой борьбы, Дюрانت называет также ухудшение транспортных средств, рост армии и бюрократии, нехватку рабов, тяжесть обложения и многие другие. Он не видит, что многие из этих «причин» на самом деле являются лишь проявлениями гораздо более глубоких причин, их следствием, их внешним выражением. Для Дюранта, в конце концов, безразлично, что является причиной, что — следствием. «Политическая анархия, — пишет Дюрانت о событиях III в., — ускорила экономическое расчленение, а экономический кризис усугублял политический упадок; одно было причиной и следствием другого» (стр. 631).

Среди множества равноправных факторов, о которых говорит Дюрانت, особенно важная роль принадлежит войне. Не классовая борьба, не внутренние трудности создают, по его мнению, доминант, но внешняя опасность. «Римское государство, окруженное со всех сторон врагами, совершило то, что все нации должны сделать в опасной войне: оно приняло диктатуру сильного вождя, обложило себя сверх возможности и отказалось от индивидуальной свободы ради достижения общей безопасности» (стр. 645). Политическая концепция Дюранта, таким образом, совершенно ясна: он советует господствующему классу империалистических США воспользоваться войной для того, чтобы установить диктатуру и покончить с остатками «индивидуальной свободы».

Мы очень бегло рассмотрели некоторые работы буржуазных западноевропейских и американских историков, посвященные поздней Римской империи. Анализ этих работ вскрывает глубокий кризис буржуазной историографии. Современные буржуазные историки, как правило, уделяют основное внимание вопросам религии, истории отдельных императоров; социально-экономическая проблематика, историческая закономерность совершенно не интересуют подавляющее большинство буржуазных ученых. Те немногие из них, которые все же уделяют внимание социально-экономическим проблемам, трактуют их вульгарно; они модернизируют общественные отношения, существовавшие в Римской империи; они объясняют исторический процесс влиянием религии и войн и ростом народонаселения; они не понимают роли производительных сил в историческом процессе и часто сбиваются на объяснение его действием множества равноправных факторов. Буржуазные историки не видят той роли, которую играет классовая борьба, и идеалистически подменяют ее концепцией «борьбы» личности и государства, почерпнутой из арсенала фашистской историографии. Методологическая порочность современной буржуазной историографии определяет и беспомощность техники исследования. В работах современных буржуазных исследователей нас поражает отсутствие критического отношения к источникам, стремление провозгласить достоверность самых недостоверных источников, типа «Жития Константина» псевдо-Евсевия, и вернуться к традициям времен Барония.

На исторической литературе американских и западноевропейских исследователей отчетливо лежит клеймо их классовой принадлежности; они выступают апологетами капиталистической системы, они отрицают классовую борьбу и активную роль народных масс в истории, прославляют войну как творческий фактор и церковь в качестве важнейшего орудия в деле укрепления классового господства эксплуататоров.

Эти пороки современной буржуазной историографии особенно отчетливо проступают в работах американских историков. Именно американцы (Холсепл, Олмстэд) стремятся к восстановлению католической традиции в вопросах истории церкви; именно

американские историки (Дюрант, Харанис) особенно отчетливо подчеркивают прогрессивное значение войн как исторического творческого фактора. Американцы задают тон в современной исторической литературе, и уже за ними следуют их западноевропейские коллеги. Французские историки, как, например, Сестон, приписывают американскую теорию о войне и религии как о двух основных творческих факторах, определяющих историческое развитие, — и даже внешне, подобно Эльбэ, они строят свои работы в соответствии с духом американской литературы.

Все это вместе взятое свидетельствует о несомненном упадке, который переживает в настоящее время буржуазная историография, как участок идеологии умирающего капиталистического общества.

*А. Каждан*

---